

Способы уйти



ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ЧУЖОЙ
СМЕРТИ?

Диляра Козадаева

Способы уйти

«Издательские решения»

Козадаева Д.

Способы уйти / Д. Козадаева — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-00-501172-5

Все знают, что делать со злом и несправедливостью, с которыми каждый неизбежно сталкивается на своем пути. Если человек родился, вырос и начал коммуницировать с другими, у него никогда не будет недостатка в этом опыте. Но что делать с тем злом, что родилось из тебя? Что делать, если несправедлив был именно ты? Книга содержит нецензурную брань.

ISBN 978-5-00-501172-5

© Козадаева Д.
© Издательские решения

Содержание

Конец ознакомительного фрагмента.

15

Способы уйти

Диляра Козадаева

© Диляра Козадаева, 2019

ISBN 978-5-0050-1172-5

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
СПОСОБЫ УЙТИ

Вот я прокусываю губу своему мужу.

Вот он бежит в ванную.

Вот пятна крови на полу.

Вот я стою, прижавшись к двери, и трясу ручку.

Вот я кричу: «Все нормально? Столько крови!»

Вот за дверь течет вода.

Вот мое предположение, что он промывает рану.

Вот мое второе предположение, что он сам виноват.

Вот я узнаю, что мой брат курит травку. Ему 13.

Вот я стою и не знаю, что делать с этой новостью.

Вот я сижу напротив человека со шрамами на лице.

Вот я пытаюсь не подавиться чаем, когда он говорит, что убил восемь человек.

Вот я делаю следующий глоток, не шелохнувшись.

Вот я лежу в постели со своим преподавателем и до боли в костях хочу обнять его.

Вот я в 31 год поправилась на 20 килограмм.

Вот я понимаю, что мой любовник сходит с ума и ведет борьбу с целой армией внутренних демонов.

Вот я понимаю, что мне не победить их.

Вот я бросаю его.

Вот я сижу на лице девушки, которую ненавижу больше всех на свете, и кончаю.

Вот она решает покончить с собой и все говорят, что это из-за меня.

Вот я, беспомощная и не понимающая, что теперь со всем этим делать.

Что сказать мне о жизни? Что оказалась длинной. И что я, получив от нее столько событий и историй, все равно жду ещё. Как жадный и нетерпеливый ребенок. А добавка будет? А после добавки еще добавка? А что будет после нее?

Мне часто приходилось слышать, будто нашему поколению, не познавшему ни войн, ни катаклизмов, ни смены политических режимов, ни событий, о которых историки будут спорить до драки и новой крови, скучно жить. Будто мы – инертная, ленивая, жиреющая, искушенная, скучающая, малоподвижная масса, которой уже ничего не нужно, кроме хлеба и зрелищ, приплывающих к кровати по нажатию кнопки и одному звонку. Будто «воины – не мы» и не стоит ждать в нашем поколении пассионариев или хотя бы мало-мальски деятельных людей. У нас культ посредственности. Культ простоты. Пик массовой культуры, удобоваримой для каждого, кто хотя бы на миллиметр поднялся над животным состоянием и уже способен как минимум переключать кнопки. Искусство, потребности, порождения культуры – все безлико, заурядно и предельно примитивно. Мы возвращаемся к пещерному веку, наскальным рисункам и общению через одно звукоподражание, как обезьяны.

Я слышала это от людей, родившихся на 20, 30, 40 лет раньше меня. От тех, к кому я не приближалась и с кем не обменялась и десятком живых слов. Они смотрели на меня с презрением и были уверены, что я, как и любой другой представитель своего поколения, ничего из себя не представляю и мне ничего не нужно от этой жизни, кроме необдуманного потребления.

Но от тех, с кем я говорила открыто и честно, я слышала другое.

– Ты необыкновенный человек. Твоя история уникальна. Знаешь, тебе стоит ее описать.

Это сказал пожилой мексиканец, пока мы ехали к его дому в раскаленном от жара грузовике, сквозь неподвижный, тяжелый от влаги воздух. Это сказал старый поляк, присевший ко мне на скамейку. Это сказал ровесник моего отца, с которым мы обедали в отеле Hilton.

Они советовали мне разбить свою жизнь на несколько персонажей, иначе все будет выглядеть слишком невероятным. Люди будут поражаться твоей неистощимой фантазии. Им будет казаться, будто твое воображение сильно, как широкий, грохочущий водопад. Выдумать столько миров, столько событий, столько героев! И, добавлю уже от себя, они ни за что не догадуются, что ты слишком глупая и ограниченная, чтобы хоть что-то выдумать.

Мне не хватает фантазии даже для того, чтобы убедительно врать. Я не смогла бы ничего придумать и под дулом пистолета. Уж поверьте, это не облегчает мне жизнь.

Первой это констатировала жена моего учителя по физике. Она спросила:

– Ты спала с ним?

Я поперхнулась пивом, которое она мне сама и купила. Кашляя и давясь, я помотала головой.

– Ты отвратительно врешь.

Потом я услышу это еще много-много раз. За 30 лет моей жизни – раза по два на одну неделю существования. Понимаете, сколько раз человека ставят в такое положение, когда он должен соврать? Даже учитывая ложь из лучших побуждений. Ту, что во благо. Без лжи мир рухнул бы в тот же день. Погряз бы в хаосе, в боли, в круговерти вины и наказания. Тюремь бы открылись, супруги, дети и пожилые родители остались бы брошенными, могилы заросли бы травой, дороги наводнились бы сумасшедшими лихачами, братья убивали бы друг друга, секс, ненависть, злоба и желания вылились бы на улицы. Потому что самая главная правда, которую сказали бы во всеуслышание, на всех языках: «Правила существуют только у вас в голове и они работают лишь потому, что вы в них верите».

Я поняла, что правила ничего не стоят и их легко переступить, когда читала дневник одной девочки всему своему классу. Мне открылось, что даже святое легко уронить в грязь. Слова о любви, о том, что придает смысл всей человеческой жизни и должно почитаться, как святыня, могут рассыпаться бисером перед свиньями, они могут звучать нелепо и смешно. Все зависит от контекста, именно он играет роль, и даже самая высокая истина, поданная неправильно, не в то время и не тем людям, может потерять свою силу. Ничего святого нет, думала я, выкрикивая поверх голов сокровенные мысли несчастной девочки, чье лицо я уже не в силах вспомнить. Если слова о любви шепчут тихо, если они текут сладкой рекой в чью-то ушную раковину, не проливая во внешний мир ни одного звука, ни одной капли, они становятся там настоящей жемчужиной. Но если читать их во весь голос прыщавой, напряженной, сочащейся гормонами толпе подростков, от них ничего не останется. Ничего святого, ничего важного, ничего ценного. Это сборище даже Мону Лизу размалюет в проститутку, в клоуна, в свой собственный портрет.

Можно быть уверенным, большинство из этой толпы писали в дневниках и думали то же самое, рисовали себе пасторальные картинки о тех, на кого они даже не решаются поднять глаза, чьи взгляды они ловят по одному и складывают в памяти, как перышки из ангельских крыльев. Он (или она) подойдет ко мне, возьмет меня за руку, он поцелует меня в парке и весь мир взорвется золотыми искрами и нежными фанфарами... Легко можно представить себе,

как каждый из них пишет такие же дневники и так же, как эта девочка, прячут их в своих рюкзаках. Разница между ними: той, чью душу я вывалила перед толпой, и теми, кто теперь смаковал ее и лапал с садистским наслаждением, была лишь в том, что ее разоблачили, а их – нет. Моя рука не забралась в их души и в их рюкзаки.

Это осознание, это открытие – любовь ничего не стоит, она может стать твоим стыдом, посмешищем, размалеванным клоуном, за которого толпа поднимет тебя на смех – стало первым куском, отвалившимся от моей души. Ее разрушение началось и оно не закончится, пока она, распадаясь, как лепестки с цветка, не исчезнет целиком.

Сначала рухнула любовь, а потом – все остальное. Впрочем, рухнула – не то слово. Она растаяла в воздухе, как воздушный замок, который никогда не был чем-то настоящим и твердым, на что можно было опереться, чтобы остановить свое падение сквозь черноту, через эту кроличью нору мира, оказавшейся лишь кишкой, полной грязи и уродства. Просто иллюзия. Просто мираж. Игра света, обман зрения. Не было и нет.

Стены из правил и морали таяли одна за другой. Должна признать, они выглядели правдоподобно: люди останавливались перед ними и замирали с почтением, благоговением и страхом. Я хотела, чтобы эти стены были настоящими. Я хотела найти за ними защиту, спрятаться там от дождя и бури, верить, что в этой жизни есть что-то твердое и незыблемое. Этот мир был бы красив и безопасен, если бы мораль и законы действительно существовали. И эта вера – вернее, страстное желание верить – толкали меня прямо на них, чтобы проверить их на прочность и убедиться в том, что они реальны. Чтобы когда надо мной совершалось беззаконие, когда сгушался мрак, когда черная, вязкая волна страха накрывала меня с головой, я знала – опора есть, она существует, она не рухнет, даже если все безумие мира взорвет и потрясет мою жизнь так, что оно накренится над бездной, грозясь рухнуть. Я хотела знать, что в эти минуты я могу за что-то уцепиться и выстоять. Закон есть. Мораль есть. Любовь и сострадание, способность людей к высоким чувствам, идеалы – все есть. Не здесь, не в моей жизни, но они где-то существуют, наличествуют, цветут и царствуют, я могу пойти туда, когда все кончится, и укрыться в этом саду.

Но как только я прикасалась к этим стенам и надавливала, едва-едва, сама боясь того, что может произойти от моего усилия, они поддавались и падали.

Я прикасалась к семьям, полным любви. Я брала за руку их отцов и они шли за мной. В подвалах их домов, в туалетах бара, на супружеских постелях и в детских комнатах они брали меня, закрыв глаза и постанывая от наслаждения. У меня не было особых методов обольщения, я даже выглядела, как попало, в моем облике не было ничего от Лолиты, обольстительницы, даже просто от женщины, на моих плечах вечно висела мужская одежда, никогда не видевшая утюга. Моим оружием служило простое правило, вычитанное в книге о Лиле Брик: «Надо внушить мужчине, что он замечательный или даже гениальный, но что другие этого не понимают. И разрешать ему то, что не разрешают ему дома. Например, курить или ездить, куда вздумается. Ну, а остальное сделают хорошая обувь и шелковое белье».

Они теряли голову от того, что я позволяла им все и давала глотнуть свежего, опьяняющего воздуха свободы. Как дети, которым разрешили брать в магазине сладостей все, что они хотят. Они могли дышать полной грудью, быть собой и прямо говорить о своих желаниях. Они могли впервые за многие годы сказать не «мы», а «я». Я, я, я хочу. Чужие мужья и папочки моих друзей просто сходили по мне с ума.

Я не хотела бы в это верить. Я хотела бы, чтобы они сопротивлялись. Чтобы хотя бы один из них сказал: «Ты сошла с ума? Этого не бывает и не должно быть!». Но я прикасалась и стены падали. Все рассыпалось. Все таяло. Безопасного мира не существовало.

Я пробралась ночью в спальню к своему дяде, я змеей забралась в его кровать и он, лишь удивившись, но не сопротивляясь, взял меня. Моя принцесса, моя принцесса, девочка моя. Когда у меня случится первая задержка, он научит меня пользоваться тестом на беременность.

Я буду обедать, играть и разговаривать с его детьми, моими братьями. Один из них – мой ровесник, другой – младше на десять лет. Следующая наша связь случится, когда этот малыш, его сын и мой брат, будет спать в своей кровати, в метре от нас. А его мать будет на ночном дежурстве. Я снова буду у них в гостях и снова скользну в их постель. В эти дни я брызгала на себя духи, я обливалась ими, чтобы они не смылись потом, не стерлись одеждой и не выдохлись в течение дня. Я хотела, чтобы запах остался на их простынях. Я хотела, чтобы кто-то ощутил мое присутствие, вскрыл обман, как гнойник на лице жизни, и прекратил это, сказав: «Так не бывает! Этого не должно быть».

Я буду спать с мужем своей беременной тети. Я буду спать со стариком-соседом, местным ворчуном и блюстителем порядка. Я буду спать с преподавателем физики и пить купленное им вино. С первой любовью своей девушки, ей назло. С многодетным отцом. С праведником. Я буду трахать резиновым членом примерного отца семейства, хорошего мужа и успешного бизнесмена, в шаге от пустой кровати его новорожденной дочери, пока она и ее мать лежат в больнице.

Мы с моей одноклассницей после уроков, выпив немного и дождавшись темноты, придем в опустевшую школу и скажем, что я забыла в классе своей телефон. Две уборщицы, пьянее нас, выполняющие почетную роль охранников, после слабых препирательств и парочки колкостей, позволят нам подняться на третий этаж и дадут ключ. Мы заберемся в темный, пустой класс. Мы сядем на учительский стол, елозя тощими, костлявыми задами по поверхности. Мы достанем из моей куртки две алюминиевые банки со сладким, шипучим пойлом. Мы будем молча пить, наслаждаясь тишиной опустевшего, покинутого здания. И здесь творятся все эти серьезные дела? Здесь вершатся судьбы? Здесь учителя размазывают нас на поле боя каждый божий день? Мы сидели на учительском столе, пьянели и не могли поверить. Ничего не осталось от наших волнений, от людей, от грохота, от историй, поражений и побед: теперь здесь лишь тишина и пыль, как после конца любой жизни. Безмолвие и прах. Мы целовались. Мы единственные, кто остались в живых. Мы налили немного нашего пахучего, липкого напитка в рабочие туфли учительницы, стоявшие под столом. Вот она удивится, когда придет на работу и наденет их! Мы сгибались от смеха. Горизонт кружился. Мы ловили губы друг друга, чтобы не упасть. Я надеялась, что завтра учительница придет в школу и заподозрит нас. Нам скажут, что так нельзя и никто, кроме нас, так не делает. Что мы ненормальные и зло ненормальное.

Я взрезала монотонное, однообразное пространство ножом, как ненасытный разбойник, вечно жаждущий крови. Я хотела крови бытия. Я хотела, чтобы она хлынула на меня и оживила. Но все, к чему я прикасалась, было фальшивым и полым внутри. Школа, семья, любовь – все, что снаружи выглядело твердым и незыблемым, рассыпалось от одного прикосновения. Кругом оказалось то же безумие, что и у меня дома. Я хотела, чтобы от него можно было спрятаться. Можно было выйти за порог и оказаться в другом мире. Но безумие, предательство и насилие оказалось повсеместным. Оно не ограничивалось стенами нашего дома. Мир был поражен изначально. Сама жизнь родилась зараженной, как от матери-сифилитички.

Существует довольно расхожая теория, будто события в этом мире, и в глобальном, и в локальном смысле, случаются для того, чтобы преподать кому-то урок. Эта школа существует только для людей, зверей учить не нужно. Вселенная так и эдак обтесывает голого, несмышленного Homo Sapiens, тычет его в ошибки чем попало, и верхом, и низом, и с обоих боков, и прямо, и косвенно, и в лоб и по лбу, так и колошматит им по тверди бытия, но судя по тому, что несчастья случаются снова и снова, люди – далеко не самые блестящие ученики.

Меня жизнь ничего не учит. Будто бы я – не человек и эта школа не для меня. Если человек произошел от обезьяны, то между животным и конечным продуктом эволюции, вроде нас,

должны существовать градации, как в шкале Кинси. Кто-то ближе к обезьяне, а кто-то – к ницшеанскому сверхчеловеку. Я во второй половине шкалы – в той, что приближается к зверю. Я чувствую себя чем-то вроде собаки. Потребности у меня вполне собачьи. Еда, секс, объятия. Я – вечно текущая сучка.

Но что, наверное, самое главное – у меня нет чувства времени. Отсутствует, будто мне тайно, забавы ради, вырезали его при рождении и пересадили кому-то другому, для избытка, чтобы он вырос и мучился.

Например, смерть моей бабушки ко мне так близко, будто она случилась вчера, а поцелуй с Эрикой, которому нет и получаса, быстро отдалился от меня и сразу же поблек, словно секунда, когда она закрывала за мной дверь, длилась целое десятилетие. Каждая ступенька, ведущая вниз, от ее двери к выходу, от небес любви к твердой земле, уносила меня на целый год вперед. Я дошла до бара и все забыла. Ее имя стало пустым. Слово «Эрика» уже ничего не значит, не имеет ни крови, ни плоти, ни сока. Единственное, что осталось – солоноватый привкус во рту, которого хотелось смыть, как можно быстрее, будто на языке медленно расплзалась склизкая улитка. Нужно немедленно проспиртовать язык, убить каждый ее микроб, ни следа на себе не оставить.

Когда я проглотила первый шот водки, она выжгла все, что осталось от Эрики, не только на языке, но и внутри. Ночь с ней – пустое, блеклое событие, его смыло первой же рюмкой, как рисунки с песка. А смерть бабушки – тут, рядом, время не разделяет нас, мы так тесно прижаты друг к другу, что ни одна капля, ни одна минута, ни один год, не в силах проникнуть между нами. Я помню о ней каждый день. Даже если бы я не хотела помнить.

И вот, я сижу в баре, поцеловав Эрику, выпив рюмку водки и тоскуя по своей бабушке. Посмотрите на меня, мне 30 лет, я – начинающий алкоголик и уже вполне опытная нимфоманка. Настоящая, клинически подтвержденная. Эрика – далеко не единственная партнерша даже не за ближайший год, а за сегодняшний день. Дома меня ждет моя девушка Лиза, которая сегодня бросит меня, но я еще об этом не знаю. Правда, алкоголизм у меня умозрительный, самопровозглашенный, но от этого не менее реальный. Если бы вы взглянули на меня сейчас, вы бы ни за что не подумали, что девушка, которая расплатилась за шот водки и выходит из бара, и девушка, пишущая эти строки – одно и то же существо. Люди не дают мне и двадцати пяти. И никто бы не признал во мне ни алкоголизма, ни нимфомании. Не потому, что я тщательно это скрываю, совсем нет. Дело в другом. Что-то во мне сопротивляется этим разрушительным страстям и я чаще выигрываю, чем проигрываю в этой борьбе.

Конечно, можно было расслабиться и «получать удовольствие» от этих примитивных радостей, можно было наспех, пьяными руками соорудить нехитрую философскую систему, оправдывающую подобное существование, или же пойти более простым путем и позаимствовать их у писателей вроде Миллера, Монтерлана или Буковски. Это было бы легко. Молодая, красивая девушка, почему бы и нет? Один раз живем, и какие там есть еще оправдания? Но ведь... Не знаю, как объяснить... Должно же быть что-то ещё.

Если пьяная, фальшивая и кратковременная радость – это все, что жизнь может предложить, то все, что я могу сказать по этому поводу: «Ведь это не то, это не то!». Должно быть что-то ещё!

Поэтому я сопротивляюсь. Проигрываю, иногда побеждаю, но каждый раз начинаю борьбу сначала, не сдаюсь. Я и сейчас сопротивляюсь. Выпить только рюмку и пойти домой – это, знаете ли, тоже победа. Но мокрые, скользкие страстишки не смолкают и копошатся внутри. Прохожу мимо алкогольного магазина и ловлю в себе, ловлю и давлю, как таракана, мелкую зависть к двум мужикам с покрасневшими руками, пьющим пиво на холоде. Мне бы тоже хотелось выпить. Напиться. Уснуть. Все свои силы бросить на оправдание этого поступка. Сотого, двухсотого, тысячного.

Удивительно, как мое лицо не превратилось в башмак и даже сохранило тот сорт фальшивой юности, которую даже сами юнцы не отличают от оригинала. Гены и везение, не иначе.

Дома меня ждет непереуевенная книга Антонена Арто. Я посвящаю свои вечера работе, чтобы не спиться и не переспать с кем-то. Моя трудолюбивость вызывает восхищение у знакомых. Знали бы они, что за ней кроется. Какая-то часть меня, львиная моя доля, тянет меня пойти к одному прекрасному и, что еще важнее, неболтливому человеку, взять пару бутылок вина и получить весь набор этих доступных, нехитрых, маленьких радостей. Или позволить другому человеку, который не пьет, но целуется так, что его губы пьянят не хуже вина. Мы бы пошли гулять в лес за его домом, затерялись бы на одной из бледных, слабо протоптанных тропинок и целовали друг друга, и сосны шумели бы над нами, будто мир рукоплескал моему решению не мучить себя и отдаться всем страстям. Но отдаться своим страстям – это как отдаться толпе. Толпе внутри. Топле снаружи.

Но ведь не то. Не то. Не то. Должно быть что-то ещё, кроме алкоголя и секса. Должно быть. А если нет, то для чего дается эта жизнь?

Завидую мужчинам у алкогольного магазина. Каждый шаг вырываю из земли. Снова хочется выпить, снова, каждый день. Я привыкла к этой тяге и к этому напряженному, тяжелому сопротивлению тоже привыкаю, как к хронической болезни. Каждый день – уговоры, споры с самим собой. Я завидую тем, кто спокойно живет без алкоголя, без притяжения, исходящего от каждого магазина и каждой бутылки. Я забыла, каково это – не хотеть. Эти люди кажутся мне какими-то героями. Неземные существа.

Внешне я тоже выгляжу таким независимым героем. Героем без зависимости. Я иду домой, к Арто и травяному чаю. Каждый день, когда ты не поддалась зависимости – победа и маленький праздник. Жаль, его нельзя отметить бокальчиком шампанского.

Вечер был длинным. Работы было много. Поработав над одной страницей, я решила выпить рюмку егермейстера. Он давно стоит в моем холодильнике. Может быть, я наговариваю на себя? Какой я алкоголик, если я позволила простоять у себя дома половине бутылки, не тронув ее. Целых два дня. Сегодня был такой тяжелый день, к тому же, я уже выпила рюмку водки после Эрики. До чего отвратительный у нее вкус! И у водки, и у этой бабы. Одной рюмкой больше, одной меньше.

Я проснулась в своей постели под утро, пьяной, со звенящим черепом и болью, отдающей в голову от каждого движения. Лиза собрала вещи и ушла. Телефон открыт на моей переписке с Эрикой. Последнее сообщение от нее: «Хочу еще разок отлизать тебе. Напиши, когда твоя девушка уйдет».

Я говорила, что жизнь ничему меня не учит. Этот сценарий уже был разыгран, все совпало, вплоть до марки напитка. Разница была лишь в поле главного героя. В прошлый раз это был мой муж, а теперь – моя девушка. Удалять сообщения я так и не научилась. Лиза часто просила меня рассказать о том, как мы с мужем расстались. Не о нем, не о моем долгом браке, а только о той секунде, когда он рухнул. Меня пугал этот болезненный интерес к разрушению. Какие страшные рыбы прятались на дне этого вопроса? Я боялась погружаться в него и отвечать. Что ж, теперь я могу сказать ей: мы расстались так же, как и с тобой. Я напилась, спала, а он прочитал мою переписку с другими мужчинами. В тот вечер я тоже пила егермейстер. Теперь он неразделимо связан в моей памяти с расставанием и я заказываю рюмку каждый раз, когда какая-то история подходит к концу. У всех моих концов вкус травяного сиропа.

В палате так неестественно тихо, будто все звуки стерилизованы вместе с микробами. Казалось, я могу услышать, как скрипят перестановки в моей душе, как что-то сдвигается с места и меняется навсегда. После такого тяжело остаться прежним. Она лежит на постели,

живая, вопреки своей воле. Самоубийство не удалось. Правда, она об этом не знает. С тех пор, как она выпила горсть таблеток и запила ее коньяком, сознание к ней не возвращалось. Интересно, она видит сны? Я попыталась взять ее за руку, но тут же одернула. Это невыносимо. Пальцы мягкие и безжизненные, что-то природное заставляет оттолкнуться от них, как от склизких морских гадов. Тихо. Только моя душа скрипит и меняется. Имя этим переменам – Лиза.

Лиза пыталась покончить с собой. Вся ее семья, все ее друзья окружили меня обвиняющими перстами, как дулами пистолетов, и я знаю, если бы они могли бы стрелять, они бы это сделали. Жизнь за жизнь, око за око. Но я уверена, что она сделала это не из-за меня. После расставания прошло полгода, мы даже успели снова подружиться. Во всяком случае, мы пару раз выпили кофе в кафе, недалеко от дома ее родителей, и она не выглядела расстроенной. Думаю, наше расставание затерялось где-то в веренице многих неприятностей, свалившихся на нее. Она никому не сказала, не оставила ни записки, ни объяснений, что именно из целой горы проблем сорвалось вниз и сбilo ее с ног. Но я верю, что это не я. Я не такой большой человек, который сможет одним своим образом затмить для другого целую жизнь. Конечно, никто из ее семьи с этим не согласен. Не с тем, что я не имею такой значимости, а с тем, что не моя рука протянула ей эти таблетки и этот коньяк.

Она не справилась с чем-то, чего я пока не знаю. Но знаю одно – теперь мне придется справляться с этим. С тем, что Лиза пыталась убить себя, а я ничем не могла ей помочь. Даже сейчас я сижу в ее палате, живая и здоровая, и не знаю, что делать. Я в полной растерянности, я сбита с ног, я обезоружена. Что можно сделать с чужой болью? Ее не заберешь, не возьмешь на себя, не облегчишь. Она оглушает тебя, парализует, заставляет замирать в беспомощности, как перед океаном, перед горами, перед чем-то слишком большим.

Я не знаю, что делать, Лиза. Я боюсь той минуты, когда ты откроешь глаза.

Будто ты посмотришь на меня с того света, с силой тьмы, со всей глубиной бездны, куда ты прыгнула. Я чувствую ее холод, он клубится вокруг тебя. Он расползается от кровати к стенам, поднимается к потолку, я тону в нем вместе с тобой. Для тебя эта тьма между твоим последним глотком и пробуждением продлится не больше секунды, а для тех, кого ты оставила, каждое мгновение будто сама смерть цедит по капле. Я не могу увернуться ни от одной.

Я не готовилась к этому событию, я не знаю, как его переживать. Может быть, если бы еще вчера кто-то предупредил меня, что однажды мне придется перенести твою смерть, я бы ощутила физическую, осязаемую боль от одной мысли об этом. Мне казалось бы, что я не смогу отразить этот удар, он будет сокрушительным нокаутом и я упаду.

Но мне терпимо. До стыдного терпимо. Я не умираю вместе с тобой.

Может быть, дело в том, что я тебя уже потеряла. Ты сама бросила меня, Лиза. В каком-то смысле ты уже перестала для меня существовать.

Может быть, дело в том, что я уже знакома со смертью и ей трудно меня чем-то удивить, я видела все ее коронные номера: долгую агонию, боль, внезапность, бессмысленность, несправедливость. Мои бабушка, дедушка, друг и один висельник показали мне, что это такое, они хорошо подготовили меня к умиранию, и к своему, и к чужому.

Первый раз я увидела смерть в комнате своей прабабушки. Мне было не больше пяти. Память выхватывает из тьмы всего две секунды. Женщина в белом халате, убирая стетоскоп от цветастого, деревенского платья на груди прабабушки, приказывает моей бабушке коротко и строго:

– Попробуйте разбудить ее.

Труп лежит неподвижно, рука свешивается с кровати. Складки кожи белого, неестественного цвета, уже не по-здешнему белого. Бабушка зовет ее по имени, трясет за плечо. Рука дергается, но внутри ничто ею не движет, ничто не откликается оттуда, из ее тела. Бабушка позвала:

– Мама!

Ночью она ушла, никого не потревожив. Это был один из самых изящных номеров смерти. Дар публике, почти заигрывание с ней, задабривание. Смерть была мягкой, спокойной, тихой, она оставила на лице след от улыбки. В этот раз она не стала меня пугать, будто пожалела.

И теперь она тоже сжалилась надо мной. Пощадила тебя. Если бы я могла отмотать время назад, к твоему последнему звонку! Я повела себя с тобой так же, как со всеми, как с каждым, кто рассказывает мне страшные истории о своей жизни. Но я не знаю, как вести себя иначе.

Все истории обрушивались на меня внезапно, вдруг, как ведро холодной воды с крыши. Это случалось в кофейне, в метро, посреди самого праздного разговора, на эскалаторе, в книжном магазине. Они заставляли меня врасплох, казалось, что эта неожиданная искренность бьет тебя сразу в лицо и под дых. Дыхание замирает, звезды сыплются из глаз. История начинается.

– Ты знаешь, моя мать потратила на этого урода лучшие свои годы. Десять лет жизни на мудака, ни денег, ни совести у него нет, еще и уродливый впридачу.

– Недавно я вспомнила, что мой отец бил маму при мне, когда я была маленькой. Я не думала об этом с тех пор. Это было всего несколько раз и очень давно. Но вдруг у меня всплыло, ни с того ни с сего. Мы сидели, пили чай и я вдруг вспомнила. Я больше не смогла поднять на отца глаза.

– Мы встречались два года до того, как он лишил меня девственности. На седьмой год наших отношений он заразил меня сифилисом. Так я и узнала, что он мне изменяет.

Сами по себе истории скорее обыденны, чем удивительны. Зло повсеместно. Я не встречала ни одного человека без трагедии за спиной. А если таковая не случалась, то человек сам ее себе выдумывал, ломался от пустяка, от весеннего ветерка, и лежал, раненый, красивый, заслуживший сострадание и лавры. Те, кто страдал по-настоящему, обычно говорили об этом без торжественности, без драматического придыха, без боли. Они знали, что страдание не облагораживает, а «жертва» – не звание, которым можно гордиться, это состояние, в котором, если бы им дали выбор, они не хотели бы находиться.

Поражала именно внезапность этих историй и та степень доверия, которая мне оказывалась. Люди, привыкшие к человеческим внутренностям – полицейские, психиатры, врачи – сталкивались с событиями помясистой, помрачней, побезумнее. Но в рамках их профессии это ожидаемо, сам порядок вещей готовит их к этому. И безумие, и драмы, и слезы, и кровь неотделимы от полицейской формы, врачебного халата или кабинета психиатра, они входят в круг их повседневной жизни. А для меня – это неожиданность, хлопок, удар, развернутая бездна чужой души.

Впрочем, к концу рассказа я успеваю прийти в себя и ровным, недрогнувшим голосом ответить то, что нужно. Как правило, какую-то банальность. Но истина всегда банальна. Как и сострадание, как и любовь, как и все важные вещи.

В тот день ты позвонила мне и рассказывала, как тебя бросали мужчины. Как школьницей ты встречалась с одним человеком старше тебя на 15 лет, который манипулировал тобой, унижая, пользуясь, причиняя боль и называя всё это любовью. Отношениями. Как священник в церкви трогал тебя под юбкой, ища клитор. Как ты не можешь определиться со своей ориентацией, потому что ты скорее ненавидишь мужчин, чем любишь женщин. Как твой ВПЧ может превратиться в рак через десять-пятнадцать лет.

Что я могла ответить на это?

В этот же день я встречалась с полицейским, с которым у меня намечалась интрижка. Во всяком случае, что-то такое, похожее на желание, мелькало в его глазах. Мелькало в паузах между рассказами о его работе. Я с пугающим меня любопытством спрашивала его о самых страшных случаях в его практике. Даже соблазнение отошло на второй план, поблекло в сравнении с топорами в головах, черепами, которых разбили камнями, как в первобытные времена,

трупам, с годами вросшими в диван, и термометрами в заднем проходе. Твои истории имели такой антураж. Я узнала, что время смерти определяют через абсурдную, дикую, пугающую процедуру: чтобы определить степень окоченения, нужно измерить температуру трупа, и судмедэкспертам приходится пользоваться единственным доступным отверстием в человеческом теле. Часто это случается на глазах родственников, и их реакция непредсказуема. Некоторые нападают на полицейских и судмедэкспертов, препятствуют их работе, впадают в истерику. Он рассказывал об этой реакции как о чем-то больном и неестественном.

– Это жизнь. Это нужно делать. Кто-то должен брать на себя эту работу. Люди боятся ее, потому что они слабы, они прячутся от жизни, закрывают глаза и трясутся, как дети. А мы не боимся. Мы защищаем этих бедных людишек, живущих в неведении, живущих так, будто смерти и зла не существует. Термометр в трупе их пугает! Хорошо они живут, если это самое страшное из того, что они видели.

Я не удивилась, тому, что он сказал после, будто эти слова сами вытекали из крови и трупного яда.

– Люди – это скоты, это тупое мясо. Неблагодарные уроды. Жаль, что у нас нет смертной казни.

Он ненавидел всех и каждого. И меня тоже. Он считал меня слишком наивной и трусливой, не знающей жизни. Будто жизнь – это только топоры в головах. Лишь надежда на перепихон сдерживали его презрение, но оно все равно по капельке просачивалось сквозь нее.

А потом ты позвонила мне. Я сказала какую-то банальность. Я так устала. Я так хотела выпить и забыть о пустых глазах этого полицейского, о трупах, обо всех проблемах на работе, об этой грязной, бессмысленной, залитой кровью, спермой и гноем жизни, где смерть наступает внезапно, по пустякам, где дети умирают в агонии, защитники презирают тех, кого защищают. Если бы я знала, что это твой последний звонок... Что я бы сделала? Смогла бы я заставить тебя передумать? Ты думала о том, что убьешь себя, когда звонила мне? Почему я не услышала, не разгадала твои мысли? Почему ты не сказала? Почему даже не намекнула? Почему не дала мне шанс?

Сегодня я переспала с тем полицейским, а потом пришла к тебе в больницу. Помнишь, как из тебя вырвалось однажды «Ты такая скотина, такая блядь». Ты взяла эти слова обратно и извинилась за них. Но от этого они не перестали быть правдой.

Я скоро уйду. Не хочу, чтобы меня увидели твои родители, иначе суд надо мной начнется раньше времени. Не хочу, чтобы меня начали судить раньше тебя. Их аргументы будут острее, безжалостнее твоих. Им всегда казалось, что я тебе не подхожу и дурно на тебя влияю. Откуда им знать, что это ты научила меня курить травку и делать кунилингус? Но ты умеешь делать невинное личико, ты умеешь быть учливой и приятной, ты из тех, о которых никто «никогда бы не подумал». А я не умею притворяться и улыбаться там, где не хочу. Такие люди, как я, не очень приятны и их обязательно подозревают в чем-то плохом.

Но посмотри на нас, Лиза. Ты совершила поступок, который перевешивает всё, что я сделала в этой жизни. Этот грех тяжелее блядства, алкоголизма, наркотиков, ненависти, злословия, гордыни и всего, всего, всего. Ты попыталась убить человека. Себя. Ты не лучше эсэсовцев, экономящих боеприпасы и убивающих 8 человек одной единственной пулей. Ты одной своей смертью пыталась разрушить жизни других людей. Тех, кто тебя любит. Твоих родителей, твоей семьи, мою. Ты оставила нас в неведении, в беспомощности, в пустоте, которая образовалась на твоём месте. Ты хотела убить не только себя, но и часть нас всех.

Так я должна говорить. Так я должна думать.

Я сижу на месте, не шевелясь, но внутри меня всё крутится, смешивается, сталкивается, перетекает. Беспомощность переходит в злость, злость вытекает в жалость, жалость превращается в вину, вина снова становится яростью.

«Раз люди кончают самоубийством, значит, существует нечто, что хуже чем смерть. Поэтому-то и пробирает до костей, когда читаешь о самоубийстве: страшен не тощий труп, болтающийся на оконной решетке, а то, что происходило в сердце за мгновение до этого»¹.

И в это мгновение ты позвонила мне.

Я могу только представить, как тебе было страшно.

Однажды я тоже близко подошла к смерти, вернее, она сама подошла ко мне. Я почувствовала ее дыхание, когда мой друг приблизился ко мне вплотную. Лицом к лицу. В безлюдном лесу. Он сказал:

– Сейчас я сделаю тебе надрез на животе и трахну тебя прямо в него.

Подобные фразы врываются в твою жизнь, как пуля в висок на полном ходу. Вы ничего не знаете о шоке, о внезапности, о неожиданном повороте событий, если ваш лучший друг не говорил вам это в лицо, а потом не вынимал нож и летнее солнце не блестело в нем всем своим божественным равнодушием.

Ты не ожидаешь это услышать. Жизнь к такому не готовит, нет таких курсов, таких уроков, таких предупреждающих знаков. Женщину готовят к избиению, изнасилованию, воровству, аварии – если у тебя есть уши и слух, ты неизбежно услышишь хоть что-нибудь о том, что тебе делать в подобных ситуациях. Но никто никогда не скажет тебе: «Жизнь жестока. Будь готова ко всему. Даже к тому, что твой друг захочет трахнуть тебя в разрез на животе».

Можно сколько угодно рассуждать о степенях виктимности и вине жертв в том, что с ними случается. Я так и вижу искривленный презрением рот того полицейского, от которого я к тебе пришла, так и вижу, как из него валятся слова: «Ты сама пошла с таким человеком в безлюдное место. Ты знала, что он может с тобой сделать. Ты что, даже не догадывалась, что у него в рюкзаке нож? А должны была! Баб выкашивают не убийцы, а естественный отбор, они сами лезут под ножи, как овцы». В его оправдание скажу, что он хорошо делает кунилингус, этот его рот.

И тут я снова слышу твой голос, Лиза: «Боже, ну какая же ты блядь. Ты думаешь только об одном. Даже в рассказ о том, как ты пережила покушение, ты умудрилась вставить слово о кунилингусе». Теперь так звучит моя совесть, твоим голосом. Если мне повезет услышать еще раз, как ты кончаешь, мне будет стыдно, потому что теперь ты и моя совесть – одно целое, и... Сама понимаешь, насколько неловко слышать, как кончает твоя совесть. Это порождает путаницу в нравственных ориентирах.

¹ Симона де Бовуар Очень лёгкая смерть / Предисл. Л. Токарева. М.: Республика, 1992.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.